

## ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА



*Грибанова Татьяна Ивановна* родилась в 1960 году в деревне Игино Сосковского района Орловской области. Автор четырёх поэтических сборников и книги деревенских рассказов «Лесковка». Произведения публиковались в журналах «Наш современник», «Сельская новь», «Московский вестник», «Роман-журнал XXI век», «Народное творчество», «Родная Ладога», «Простор», «Подъём», «Славянин» и др., в газете «Российский писатель», в сетевых журналах «Великороссь» и «Камертон». Лауреат Международного поэтического конкурса «Звезда полей», Международного литературного конкурса «Умное сердце» имени А. Платонова, региональной премии имени Е. Носова (Курск), обладатель специального диплома премии «Прохоровское поле». Награждена медалью «900 лет подвигу Священномученика Кукиши». Член Союза писателей России. Живёт в Орле.

### ПАЛЫЧ

#### Быль

*«...дышу воздухом Родины,  
страдаю вместе с нею...»*

*В. Н. Крупин*

Где-то далеко от Орловщины, аж в Казахстане, обустроился целинный посёлок «Степной». А может статься, ушлое время давно уже стёрло его со всевозможных карт, как не пощадило и само государство, в котором с великим энтузиазмом закладывали когда-то этот посёлок.

Палыч о том не ведаёт. О месте своего рождения знает лишь из кратких записей в документах да по скудным воспоминаниям горемычной своей матери Василисы, травки-чернобылки, оставшейся в послевоенном лихолетье на родительском подворье сама-разъедина, с радостью принявшей вербовку, а с нею — ворвавшуюся в её судьбу горечь целинной полыни.

Той бурной весной на свою беду почудилось ей, что, наконец-таки, встретила

она самого желанного. И надломилась берёзонька под гуляй-ветром. Грех попутал.

От него, то ли тамбовского, то ли тверского ухажёра-щёгала, забрюхатела в первый же вербовочный год. А ему — распотешился — и только бы гулеванить да куролесить. Стало быть, любовь его была таковская, недолговечная. То ли по доброте своей душевной, то ли от избытка любви, простила бабонька отцу своего дитяти его бесшабашность и беспечность... К чему затевать сыр-бор? Ну, напоролась... Не она первая, не она последняя.

Простила и распрощалась, твёрдо усвоив его любимую блатную поговорку, которой он козырял и к месту, и не к месту: «Не верь, не бойся, не проси».

Василисе, разрешившейся на Спиридона, в зимний солнцеворот, в кромешную декабрьскую разметель, в палаточной больничке, не достало мочушки поднимать разом бескрайние целинные просторы и сынка Ванюшу. Недоношенного, хрупкого мальчишку, зацепившегося крошечными синюшными ручонками за жёсткий, обледенелый краешек жизни (словно новорожденный зимородок за полынную наледь), записала по деду — Палыч.

...Появление её в Калиновке с нагуленным дитём никого не удивило. Дело обычное. То, послевоенное десятилетие, сподобилось породить столько безотцовщины, что даже никем не переплюнутые сплетницы, стригущие языками с утра до вечера, Маронья с Кулёмихой — калиновское сарафанное радио, завидя, как на грех, с завалинки Василису, свернувшую на подсекающихся ногах в проулок к родимой хате, с пожитками в парусиновом мешке — самым малым бабьим барахлишком, с пищащим кулём у груди, поприкусили брѣх, жалкующе поздоровкались, мол, с прибытием тебя, раскасатка.

То ли по причине утробной незрелости, то ли оттого, что папашка его принял не мало на грудь в ту ночь, когда добился-таки красавицы Василисы-орловчанки, только рос Ванюшка тщедушным недоростухом, обломышем. Вечно хворым и сопливым. Одно согривало Василисину душу — хоть учился без понукания, может, какая польза с того учения будет.

Растреклятая судьбина скрутила бабу в то лихолетье в бараний рог. Окунувшись с головой в кромешный разор, в убогость быта, она вынуждена была с самого возвращения на долгие годы податься в почтарьки, на пять сѣл кряду. И в жарень, и в лихую распогодицу.

Колготиться, сюсюкаться вокруг мальчика было недосуг. Опереться горемычной не на кого. Выголоситься, выплакать свои тужилки тоже некому. Как говорится, без матушкиного благословеньица, без тенькиного прощеньица. Без сородичей. Подачки от кого дожидаться?

Отец, чудом спасшийся из горящего танка в двухстах верстах от Берлина, возвратившийся ранней весной сорок пятого, не сдюжил и в голодную годину сорок седьмого помер от никак не желавших затягиваться ожогов. Надсаженная на тягловых работах мать расхворалась окончательно. Потеря мужа её доконала. И до того не была помощницей, а как не стало отца, и вовсе долго не задержалась, извелась, ушла следом.

Пойдѣт Василиса на Радуницу ли, в Родительскую субботу ли на погост, понурит голову, рухнет купавкой подкошенной на родимые могилочки, обнимет холмики, и пластается, надрывается, голосит своим грешным сердцем, ко Господу взывает. Плачет-приговаривает причитание, знакомое с самых малых лет любой деревенской бабе:

«Солетайте с небес ангелы, вложите душеньки во белы тела, вложите свет да во ясны очи, живленьице да во ретивы сердца, говореньице да в сахарны уста! Станьте, пробудитесь, отзовитесь-откликнитесь, мои родимые свет-батюшка да горлица-матушка, ото сна да от крепкого, от крепкого, от мѣртвого; хоть обмолвите слово со мной горюхой-сиротинушкой! Я пришла, бедна горюшица, вас во гости звать-позвать, да во свой неблагоприятной дом; приходите-тко думушки подумати и словечушко перемолвити, как мне жить, бедной горюшице во сиротстве да во бедности!

Не бывать да ключу на воде! Не плавать камню поверх воды! Не бывать, мои кормилицы, вам в моём доме не разоньки!

Из орды есть выходатели, от неволи откупаются; из-под матушки сырой земли нету выхода и выезду, нету пешего и конного, ни дверей нет ни лазеечки; ни косещата окошечка, никакого проповещичка! Не придёте вы, родимаи, ко горюхе разнесча-а-стнай!»

Замуж сходить Василисе так ни разочку и не пофартило. Правда, когда Ванятке годика три было, не боле, прибился к ним из соседней деревни мужичонка, обездоленный войной горюн. Раскольцованный, семья, жена с двумя малолетками, ещё в сорок втором сгибла. Смирный, заботник. Степенный. Характер — мёд. Привычный к крестьянскому ярму, гнувший в нём спину сызмальства, что конь работный. Такой мог бы облегчить Васькину ношу, не заботиться, пройти с нею рядышком не только по торной стёжке, но и по любому омежью. И ухватилась, зацепилась за него, воспряла, было, Василиса, отодвинула свои беды-напасти в дальний угол сознания. Заворошилась в её иссушенной горем душеньке надежда — какое послабление подвалило!

Но не успела бедолажная Васька счастья своего бабьего отпить (на всё воля Божья!), как в осеннюю пахоту на Волошках подорвался несбывшийся Ванюшкин отчим на дожидавшейся своего часу противотанковой мины. Сколько лет ещё шёл по земле нашей, терпимице, стон, распроклятая война жутким эхом ахала-аукалась по истерзанным полям и перелескам,

А счастья так хотелось... хоть горсточку, хоть самую малую щепоть... Но, увь! Выше головы не прыгнешь. Больше мужика Василисе захомутать так и не удалось, ни один так и не зацепился за её надорванный

подол. Правда, это не помешало ей, как смаковали, судачили злые языки, «навалить» пятёрку погодок. Таких фортелей соседущки уже простить не простили, заулюлюкали, зафыркали. Одно дело — привезла с вербовки. И совсем другое — шкодничать среди своих! Будь их воля — в тюрю б искрошили, в мелкие кусочки.

Не одну бабу на деревне точил червячок: «Святая Троица! И кто ж ей, такой-разедакой, наглице настырной, ребящёнков намастырил? Да чтоб она, шалава, сгнула!» Не одной втемяшилось в голову, не на одном подворье проросло дурман-травую, осело едкой пылью: «Ведь она ж, паскудница, — коварная, отчаянная, того гляди, чередой и мому не откажет!»

Бабоньки смотрели волчьей стаей, цепко держались за кровное, родное. Ни одна бы не пожелала побывать в Василискиной шкуре. Взбеленились, разбушевались, шугали, мол, держись, Васька от наших мужиков подальше! Начертыхались в её спину, наплевались-насытились от души, под завязку, где надо и где не надо, чтоб не на своё не зарилась, чужого счастья не разоряла. А она, грешным делом, особо не побаивалась, ноль внимания, кило презрения на всю бабскую фигнотень. Залижет раны, заглотнёт слезу, не съёжится, не закручит. Что трава-осока, того гляди — обрежешься. И — кукиш свернёт — нате-ка, выкусите, чтоб замордовать! Да знай себе, молчок. Состроит вид, будто и не замечает гадючьего шипу, муры бабской. На соседок зла не таила. Было бы об чём лаяться-то! Замкнёт рот, проглотит обиду. Хоть на час, а и мне счастье улыбалось! Попробуй разберись, кого любила, кого, как лекарство от любви принимала. Рада бы в рай, да грехи не пускают.

А мужики не зазеваются. Лакомый кусочек — вольно гуляющую по просёлку почтальоншу, не привязанную к дойке, не припаханную к полю, ладную да осанистую, упустить — прямо-таки грех! К тому ж, знамо дело, редька с чужой бакши за всегда слаще мёду со своей колодины.

Так и топала, переваливаясь, словно утица, с боку на бок, вечно «чижёлая» почтальониха Василиса своей колдобистой, не ласковой, но такой манящей судьбою от села к селу, из года в год. В ведро, по ясному летицу, нарядными луговинами, высоченной травницей, по томной просёлочной пылиге — в хлипеньких парусиновых, с протёртыми подошвами, ходоках. По осенской стыни, по топкой хляби, по раскисленным пожням, (чёрт ногу ломает!) — звучно шлёпая по лужам, в побитых, кургузых, на босу ногу калошиках. А как ляжет первопуток, — подобуется в латанные-перелатанные, стоптанные на нет, матернины бурочки, закутается в выдавшую виды белокрайку, и — с Богом!

Разносила газеты и письма, а заодно и местные новости. Наперевес с набитой печатной всячиной сумкой и очередным, приспанным в какой-нибудь копёшке, грудничком. Ни отдыху, ни передышки.

А малышня — польнь придорожная, дома. Пригнездилась друг к дружке, сгрудилась под приглядом владычествующего на худом, сиротском подворье старшенького, Ванюшки. Подумать жутко: и как он только с теми вечно ненасытными кукушатами справлялся! Весь хозяйственный обиход на нём. Колготился с утра до ночи.

С младенцем на руках, раскидав с горем пополам почту, всё, что могла к вечеру Василиса, трава подкошенная, — перехватить, похлепать наскоро Ванюшкиной похлебки-бурдашки (сизой, без единой

блёсточки, так, картохи да подберёзовики-поплашки, что насбирала, как набрела вчера в Минькиной посадке, по пути в Кринички).

Пересчитает мамка по головам своих, на ветрах-сквозняках выношенных, не пряниками вскормленных ребятишек, и упадёт, плюхнется на слаженный ещё хворым отцом, укрытый тканями постилками, топчан. А среди ночи, когда уж и муха не прожужжит, и комарик не пискнет, впав в забытьё, — сунет разоравшемуся младенцу обвислую грудь и продолжит непрерывно подкачивать — дёргать за верёвку подвешенную посередь горницы зыбку... Жизнь её — рана сукровичная, прахом пошла, через пень-колоду заковыляла. Доля бабья при таком-то гурте — о-хо-хонюшки какая, зачеловечная! И не было в той растреклятой жизни у бедолажной Василисы ни щёлочки просвета, никакого разъединного интересу.

При своей болезности и тщедушности, при лихом бурьянном детстве (потому как был Ваня — продукт случая, и рос, что сорняк во поле, тростинка тростиночкой, легче пуху тополиного, без догляду, без ухода, в чём дух держался) было ему не в тягость закатить до материного прихода всеобщую постирушку, наловить-напороть плотвы на какую-никакую ушицу (пир горой!), поцыркать за титьки вечно нечёсанную, (но поди ж ты — себе на уме!) норовную козу Катерину, а хлопоты по бакше для него и вообще — всласть. Худо-бедно, с пустой требухой, впроголодь (одна мечта — хоть раз натрескаться б до отвала), но исхитрились, выжили... Хоть и в суровой узде, но подаяние не просили, по миру не ходили, церкви не грабили. Не жаловались и не обозлились на белый свет.

Служба в армии не добавила Ивану росточку. Но коренастость не помешала окрепнуть физически. Что ржаной сноп, тугой, налитой.

Калиновка семидесятых — село не малое. Колхоз орденосный. Хозяйство крепкое, на зависть соседям. Одних коров — четыре стада, а ещё — телята-первогодки, телушки — любо-дорого, считай, тоже вот-вот коровы. За всем этим добром сколько глаз требуется! Два ветврача, а зоотехников — престарелый Никодимыч.

Демобилизовавшись, присоветовал сам себе Иван податься в сельхозтехникум. А куда ещё-то, коли надумал осесть на земле?.. Да и по правде сказать, материнская несбыточная мечта о дворе, полном живности, передалась и сыну. Крепко втемяшилось в его голову из полуголодного детства матушкино вздыхание: «Корова на дворе — обед на столе».

Как не пыталась поднатужиться горемычная, осыпанная у подола ребятишками Василиса, сколько слёз горючих пролила, и рада бы, но так и не скопила денег на кормилицу. Где с таким корогодом сбёрёшь? Одной одежи-обувки на ребячью вагату немеряно надо.

Правда, братья, сёстры помаленьку устраивались: кто работать, кто учиться. Василисе тут бы и вздохнуть, но, спровадив младшенькую Таиску в швейное, она вдруг возьми, да под Духов день и помри.

...Когда парень вернулся в родное хозяйство специалистом, да под пригляд получил три фермы, так уж стал прозываться не Василискиным Ванюшкой, как жалели его сердобольные бабоньки, и не Ванькой Корявым, как цедили сквозь зубы, окликали его не переводящиеся ни в одной деревне

злыдни. По первоначально, как положено по должности — Иваном Павловичем, а спустя месяц, пообвыклись, и вовсе, по-свойски, запросто — Палычем. Потому как народ не обманешь. Дояркам и присматриваться особо нечего, сразу распознали: имеет в своём деле толк, колхозных коровок, что детей малых, с особым благоговением пестует, из кожи вон лезет. Иной хозяин такто и для свойских не сподобится. А с умом хозяйствовать — наука цельная требуется. Подшучивали, мол, наш Палыч языком зверей, трав да птиц владеет, замудрёнистый. Опять же — сердобольный, не обляет, не обматюганит, душа-славянка, нараспашку.

И поработать любит о-го-го как! Не балованный, Боже упаси! Ни перед каким делом мужицким страху не ведаёт. Как заვენят покосы, как дозреет добротное, едовое сено, он уж тут как тут. И с литовкой по росной балке успевает пройтись, и вилыграбли из рук не выпустит. Копны наловчился смётывать — в поднебесье! «Заряжённый, — давались диву, толковали о нём деревенские, — заряд в нём огромный кроется! Хоть на вид и неказистенький, а большого калибру человек!» И девки вкруг его хоровадом вились. А он: нет, чтоб «и сороку бить, и ворону», не хахалился, свою дожидался.

В покосах и приглядела его Любашка Светлова. Душа Ванина струнулась и поддалась. Месяц, как повиснет на частоколе луна, за Стешкиной околицей у круглых раки, где конопелью пахнет, где рожь мягкими волнами струится, погуляли, и после Ильина дня, как «захолодил камень воду», парень сватов заслал. А чего зря мешкаться, ухажёриться, вкруг да около ходить? Не мамзель какая — фу ты, ну ты, лапки гнуты, сызмальства друг дружку знали.

По одним оврагам клубнику щёлкали, в лапту-копырки на одной улице играли, вечерами в один лаз к Калинихе за крыжовником ныряли, налёты на одно гороховое поле совершали.

Да и вторился Иван, видать, не на шутку. Всё, бывало, подле неё отирается. Как завидит девчонку, дух у него перехватит, сердце засуматошится, птицей встрепелётся и запорхает вокруг её пшеничной головки. Мочушки дышать без девчонки не стало! Всё вокруг летней дойки, что у Дальних Закамней вертелся-высвистывал. Выдастся свободная минутка, парень крупной рысью, — ноги легки и крылаты, букетик по пути надрать не забудет, — вёрст пять, опрометью в луга. Любашка к тому времени уже год, как доярствовала.

Правилось Ивану слушать, как звенит колокольчиком, пересмеивается она с пастьухом дедом Пупком (будто вся из шёпота таволги, из шелеста ветра, из земляничного смачного духа соткана), как убирается к дойке — поднимет руки пройтись гребешком по пшеничным, с неслучными золотистыми завитками у висков, волосам, подвяжет косынку, вытянется, словно берёзка-самосевка на Кузькином бугре. Так и светится, так и лучится её, никем ещё не измеренная, душенька!

Разбутонилась! Как же по такой не сохнуть? Ни какая-нибудь непутёвая, сокровище-девка! Пава!.. И до кончиков ногтей — родная, желанная. Стало быть, промысл Божий. Умаешься, в доску расшибёшься, а ключики от её сердца сыщешь.

Упрёт руки в бёдра, лихо подбоченится, в глазах озорство так и засверкает. Голосом играет — уста малиновые, взглядом заманивает-брызжет. Вскинет свои густые ресницы — свет зелёным потоком

хлынет! Прольётся в самую Иванову душу, затомит, растревожит!

Процедит девчонка через марлицу парное прямо из плескучего подойника, распахнёт занавески ресниц, испей, мол, Ванечка, молочка моего нашёптанныго, на тирлич-траве да на купавках настоящего, нынче Пупок в Ведьминой лошине пас, молочко, что зелье приворотное, конопельное: пьёшь и не напиваешься...

Уж какой десяток годков по милости Божьей делит Палыч с Любашей кров, постель, попережку горе и радость, а только никак он не может напиться ею. И ни какое лихо не сможет его от Любушки, от лица её моложавого оторвать, через всю жизнь, взахлёб, пронёс свою первую влюблённость. Прикипел к ней крепко-накрепко. Бултыхнулся смолоду в Любушкины бездонные очи, и потонул в них на веки вечные. Попадёшь под влияние такого солнца, и орбита твоя до скончания дней предопределена.

И нет ему покоя-счастья, и не всходит для него рассвет, и не подступает вечерняя заря, и не спускается на долины роса жемчужная, коли не видит он её глаза, не слышит, как гремит она спозаранку у печи чугушками, как выговаривает пеструхам, разорившим луковые да морковные гряды, как, идя с вечерашником (уловит Палыч на слух), плеснёт на крыльчке в кошачьи плоски парное, сначала в одну — для Муськи, потом — в другую, для многочисленного её потомства. И спать-то ему не засыпается, покуда не отогреется, не оттаёт хлопотная, заботная душа его под чуть слышимую из красного угла то ли прабабкину молитву, то ли песню-плач, выводимую Любушкой на какой-то особый, древний, лад.

Сквозь тихую, светлую дрёму в окошко бились обросевшие крылышки бражниц, пахло ладаном, медовой стариной, покоем...

Спозаранку снова: колхозное хозяйство, фураж, отёлы, удои... Челоек он занятой, дел — выше картуза.

А вечером, возвратясь с работы, любил Иван Палыч присесть на скамейке у крылечка, чуток передохнуть, дожидаться, когда Рябка возвратится с лугов, наподдаст легонько обломанным рогом калитку, тряхнёт своим пятнистым чепраком, сытно мымыкнет, пронесёт себя важно, домовито, по подворью. Источая запах парной жвачки, принохиваясь, дородно вздохнёт и не откажет, подхватит длинным увилистым языком протянутую на ладони горбушку.

Корова — она ведь животина задушевная. И, по правде сказать, порой, своей парною душою куда как добрее, ласковее и чище самого хозяина.

Ближе всех она к человеку на подворье. И дитя её вынашивается девять месяцев, как человечье. И зубов у неё, как и у нас — тридцать два.

А глаза?.. Тоже человечьи! Глядит в тебя так, словно — таи не таи — всё на свете про тебя ведаёт, что ты и сам давным-давно позабыл. Проходишь по стаду, а тебе во след пар сто доверчивых, преданных глаз смотрят мягким, ласковым, как сон, взглядом. Знают тебя, Палыча, как родного, как мирового мужика. За семью свою кровную почитают, потому как все пять Зорькиных телков, семь Бурёнкиных да и три Звёздочкиных тоже приняты ни кем иным, а тобой, Палычем, лично. Подлечены, поддержаны, поставлены на ноги, досмотрены, спроважены на подножный корм.

У Любушки тоже забот! Не мене, чем блох у соседского Полкана. То на утренней, то на вечерней дойке, словно маслобойка какая, кружится. Не цаца городская, из-за коровьего вымени света Божьего не видит.

— Ты бы хоть в обед прилягла, перекемарила минутку, — жалел её Палыч.

Понимал, как надсаживается жена: и на колхоз вламывай, и огородину вырасти, и дом обиходь, и за Лёшкой догляди, не ровён час, чего набедокурит, вытянулся за последний год, Любушка сказывает, усы уж батькиной бритвой тайком поскрёбывает.

А тут как-то — накрыли стол на ноябрьские, Лёха перехватил и в клуб шмыгнул.

Заголковали о своём, житейском. Палыч налил по стопочке.

— С праздником, Любовь Тимофевна. Давай-ка с устатку.

— Нельзя мне, Ванюша, — покраснелась жена.

— Ещё никому рюмашка свойского не повредила, — принялся уговаривать Палыч.

— Тяжёлая я... Ваня, — всхлипнула Любушка и спрятала глаза.

— Золотко моё! Голубонька моя! Ну и разуважила, касатка, — Палыч аж поперхнулся, кинулся к жене, — что же ты плачешь, глупая?

— Срам-то какой, Ванечка! Лёшка в рост пошёл, уж с девками хороводится, а мы всё туда ж, с люльками-пелёнками... Что делать-то станем, фельдшерица сказывает, мол, уж за два месяца? — плача и смеясь, засоветовалась жена.

— И думать что плохого не моги! И напрасно ни меня, ни себя не кори! — прямо взвинтился Палыч, — в такие-то годы Господь посылает драгоценный подарок, как

не принять, как заперечить!..

А Лёшка тоже, чего не ожидали, несказанно обрадовался, мол, уйду служить, вам скучать некогда будет. Сестрёнку заказал. Даже имя придумал — Алёнка, а по домашнему — Ляля.

Хотел сестру — получил... До самой армии с нею тотошкался, не хуже иной няньки.

Проводили его, как положено, всем селом. Сутки гуляли, на сборный на двух грузовиках прикатили.

Любушка, оторвавшись от сына, сняла с себя бабушкин крестик, надела на Алёшу, трижды перекрестила, наконец-таки, отпустила, ступай, мол, роднай, с миром. Со взглядом, запавшим вовнутрь, зашептала во след защитительную материнскую молитву:

«Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица сына моего, любящего Бога и знаменующегося крестным знаменем...»

Алёша ушёл в мае девяносто четвёртого. А в декабре Палыч сначала услышал по радио, а потом и, нацепив очки, не раз перечитал в «Правде» указ Ельцина «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооружённых формирований на территории Чеченской республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». Душа заняла, захолынула... потеряла с той поры покой.

Палыч — мужик редкостной доброты, старался, как можно дольше, таить от Любушки, что Алёшку перебросили в район Моздока. Жене, потонувшей в хозяйстве, в заботе о маленькой дочери было не до политики. Вечером, подсев к телику, тут же засыпала.

Последнее письмо от сына пришло пятого декабря. Обычное письмо со службы:

приветы близким, забота из дальней дали об их здоровье, расспросы о проделках Ляльки.

Палыч перехватывал почтарьку. Опасаясь недоброго, наказал Лёшкины письма вручать ему собственноручно. Жадно слушал вести с Кавказа.

А когда узнал, что двенадцатого декабря Моздокская группа у посёлка Долинский столкнулась с серьёзным сопротивлением, сердце отцовское дрогнуло. В два часа дня какой-то полевой командир Ваха Арсанов со своей дикой артелью долбил впрямую по группировке, в которой находился его сын Лёшка. Шестеро убитых, тринадцать раненых. И это только начало...

Когда пришло сообщение, что тяжелораненый сын в лазарете и, вероятно, будет комиссован, скрытничать, таиться от Любушки не имело смысла... А она - ни сном, ни духом! Как гром среди ясного неба. Словно молния пронзила бедняжку. И пошла с того дня вся жизнь их сикось-накось, кверху тормашками...

Он дал жене выголоситься... Когда у нарыдавшей, наоравшей Любушки не стало голоса, и из её поминутно вздрагивающей груди стал выплёскиваться лишь дикий стон, похожий на щенячье поскуливание, когда, высморкавшись в старое кухонное полотенце, она, наконец-таки, смиренно затихла на его душегрейке, Палыч объявил: «Поеду сам... Куда тебе?.. Ты уж дождайся нас дома».

Трое суток, пока не вернулись её родные, простояла Любовь Тимофеевна с отуманенным взором перед образами. Через отзынутую дверь до присмирившей Ляльки доносился её непрерывный шёпот:

«Владычице Преблагословенная, возьми под Свой покров семью мою. Всели в

сердца супруга моего и чад наших мир, любовь и непрекословие всему доброму; не допусти никого из семьи моей до разлуки и тяжкого расставания, до преждевременных и внезапных смерти без покаяния.

А дом наш и всех нас живущих в нём, сохрани от огненного запаления, воровского нападения, всякого злого обстояния...»

Два года сын валялся по лазаретам, санаториям и больницам. Наконец, кое-как подлатавшись, вернулся в Калиновку. Молодость, материнский уход и ласка брали своё. Даже устроился, было, в районе шоферить. Хоть родные деньгами его не корили, но, что он козлёнок какой, чтоб мамку обсасывать? Деньги — не огурцы, на бакше не вырастишь!

Через год женился на медсестричке Галинке. Всё бы ничего, но война не хотела его за просто так отпускать. Контузия дикими головными болями разламывала, раздирала, разваливала на части не только его тело, но и саму его жизнь. С усиливающейся, накатывающей снежным комом слепотой, мерк белый свет, безвозвратно рушились планы и мечты. И покатила его судьбинушка кубарем, в невозвратную пропасть. Лешку словно подменили.

Какой из хворого работник? Зилок пришлось оставить. Да и Галинка опасалась от такого рожать.

И Лешка закис, как квашня, не устоял под ударом судьбы, запил, пустился во все тяжкие. Да так, что друзья-субутильники приносили закоченного к порогу на руках, укладывали на коврик под дверь. Галина не впускала — нянчись с ним! Ещё оплеухами по пьяни наградит! Лёха молил: «Прости!» Галинка из-за двери: «Бог простит!», и — на засов.

Муж то бил себя в грудь, то становился

ручным, как голубь, то снова кипятился, орал, мол, как смеешь, ёлы-палы, такая-растакая, героя забижать!

Забирали, возвращался, плакал, каялся, маялся... но не проходило и недели — всё закручивалось по-старому, продолжал гнуть своё. Озлился, ни что ему не стало в радость. И не находилось даже соломинки, за которую смог бы он ухватиться, удержаться на плаву, подгрести к твёрдому берегу. Земля уходила из-под ног. И не было этому конца и края...

Изношенное Любушкино сердце отказывалось жить. Не было границ материнскому горюшку. Как не понять её? Под сердцем носила, холила, лелеяла кровиночку... Навалились на неё растреклятые хворобы, стали день ото дня одолевать-терзать. И заслабела болезная. Казалось, мыкалась за гранью телесного. Всё, бывало, воздевает руки к небу, плачет да приговаривает: «Матушка Пречистая! До каких дней дожили?.. Для того ли мы, Ванечка, деток рожали?.. Хоть бы сжалился надо мной Господь, забрал поскорее, чтобы лиха такого не видать!»

Палыч поколдует-пошаманит, выходит её на какое-то время, а она снова недужит, сереет, завядает на глазах. А однажды (за нескончаемыми хлопотами Палыч не заметил) обнаружил вдруг, что из дома исчезли все зеркала.

Отыскав их в дальнем чулане, ошеломлённый, долго не мог подступить к жене. Наконец-таки, осмелился.

— Это зачем же ты с ними так-то сурово? — Палыч заглянул в оплавленное слезами, изтерзанное бессонницей, Любушкино лицо.

— А на кой они мне... коли без конца слезятся ... коли покоя-счастья нету? И

без них тошно! — построжела, выдала, что припечатала, и безотзывно замолчала жена.

Из глаз её сочился мутный, запредельно-вымученный свет, словно стоит она уже у рубежа неземного.

— Ладно, — погоревав, отставив зеркала подальше, чтоб ненароком не стукнуть, Палыч бормотал в пропахшие махрой усы, толковал сам с собой, — что подступать к ней, сердешной, с ножом к горлу, с расспросами? Вот тебе и жизни веретено! Ить как закружило! Ладно... поправится Любушка, наладятся дела у Лёшки, глядишь, снова заулыбаются зеркала, тогда и вернём их на прежние места.

Но его надежды на семейный покой не только не оправдались, а с каждым днём безвозвратно гасли.

Как уж там получилось, Палыч не знал, только почуял он своим мужицким чутьём, что его беды перехлестнули через ореховую горожу, обрамлявшую их с Любушкой усадьбу, выплеснулись на улицу, а там уж пошло-поехало! — потонули в напастях иного размаха — колхозных, губернских... всеобщих. Заколдованный круг.

Что случилось? А то и случилось: громадное российское хозяйство не устояло под дикими ветрами, перекаати-полем полетело, закувыркалось в неизвестность. И подкашивались на тех лютых ветрищах, к бабке не ходи, прежде всего ни кем не прикрытые луговые былиночки, вроде Палыча и Любушки. А уж о детях, Лёшке да Ляльке (их тоже не минула сия чаша), и говорить нечего! Корней пустить в земную твердь-основу всего сущего не успели, не выпустили листочки-цветики, не обсыпались плодами-ягодами, не закрепились ни

в каком деле, не успели набраться житейского ума-разума. Закружило их лихолетье, не спасти, не укрыть в родительском гнезде. Выпали, что птиченята малые, неoblётанные. Не успели на крыло стать. Какой путь от них дожидаться? Какой полёт?..

Калиновка — страна захолустная, заходила ходуном, заклокотала. Их прославленный колхоз вылетел в трубу, а точнее — влетел по самые некуда — загибался, сдыхал прямо на глазах, как кобель подзаборный, и никто из районных, губернских «хозяйвов» не спешил ему на подмогу — пусть летит вверх тормашками. Некогда ворон считать, своё впору спасать. Мошенник на мошеннике сидел и мошенником погонял. Завели забористую хреновину, а расхлёбывать? Башку за неё открутить не сыщется кому!

Озлобленный люд перегыркивался, мусякал события и так, и эдак. Гудел, словно роевня, мол, снюхались, сваськались, так их растак, одна шайка-лейка. Нарочно колхоз разваливают, с..., шурум-бурум наводят, а под шумок, в мутной водиче, хапают, растудыть их туды, всё что под руку попадётся. А стыда за душонкой ни граммочки не осталось!

Это кто ж им дозволил над народом такие фортеля выкомаривать, самочинничать? Или, думают, мы стадо какое безрассудное? Профукали к едреней фене такое хозяйство! И про меж себя пересобачились. При таком раскладе готовы друг дружке глаза повыдирать, в горло вцепиться. А как жареным запахнет, так им ничего не стоит из переплёта выпутаться да за бугор свалить. Светопредставление по всей Рассеи да и только!

Их председатель, бурластый Фёдор

Семёныч, тоже не промах, шанс свой не упустит: изворотливый, хладнокровный, расчётливый. Пройдоха — поискать. Дурака не сваял, нагнал на свой двор колхозной техники и в ус не дует. На ворота пять амбарных пудовых замков, что издевательски смахивали на кукиши, навесил. Скупердяй, попроси — крошки хлеба не дождёшься. Закочевряжится, завывобенивается. У самого-то всё схвачено-обтяпано, чин-чинарём, а у соседей — пресный шиш да не шиша, хоть в петлю прыгивай. Всех облопошил. Но от людских глаз на деревне не укроешься, здесь каждый, как на ладони. А напраслину тоже не к чему сочинять.

Витька Груздев, человечиска с душком, местный ворон-жульман, не переобжудить, будь он трижды не ладен, ещё во-он когда скупал у деревенских мясо, да ни куда-нибудь — прямёхонько на столицу! Поднажился, загребущий, особняк в два этажа в самом центре Калиновки разбухал.

А сейчас и вовсе разохотился, самое времечко для такого прохиндея. Бардак! Хватай — не хочу! Так ему, паразиту, мало, сказывают, власти возжелал, выстёбывается, депутатство снится. Какого ещё рожна ему вздумается? Того гляди, всю округу подомнёт, в оборот возьмёт. Мужиков спаивает. Подкупает. Грындит, пузырится, бредни-залепухи обещает. А те и клюют на его подачки. Полдеревни на него, словно на барина какого, работает.

И колхозные стада ушли его же стёжкой, куда Макар телят не гонял. Пустили, сговорясь, хитрованы-воротилы под нож всё калиновское поголовье. Такой кусок отхватили! Оставили, как в сказочке называется, от племенного стада рожки да

ножки. И смакуют не шатко, не валко своё лукавство.

Палычу даже вспоминать о том жутко! Любушка его таким редко видела: белый от ярости, руки трясутся, зубами скрипит, того гляди, на кого с кулаками кинется. Думала: с ума спятил.

За долгие годы в хозяйстве он привязался ко многим коровам. А как не полюбить-то? Почти все из них выходились под его опекой, с самой что ни наесть сосунковой поры, с молочного телячьего возраста.

Лет двадцать назад по утверждённой не понять кем резолюции постановили развести холмогорскую породу, мол, молочниц лучше холмогорок не сыскать. Ну, раз таковское дело, никому не доверяйся, отправился Палыч, светлая голова, на закупку. Бурёнок собственнлично осматривал, подбирал знатное стадо: чтоб каждая с широким задом, с большим выменем, со множеством тонких складок на шее, с не очень длинными тонкими рогами, окрашенными в тёмный цвет со светлыми вершинками, с широкими ноздрями. Опять же — стройная, высокая, чтобы соски не резались о траву, не пачкались в грязи.

По опыту, да по старому поверью знал, чем ниже кисточка хвоста, чем он тоньше, тем молочнее корова. Проверил уши: чем больше серы, тем выше жирность молока.

Но на всякий случай, за хороший магарыч, (мудрейшина!) прикупил и десяток чистокровных, племенных сименталок. Стельных тёлочек. И не обмишурился. Именно они-то и прижились на Калиновских угодьях, в основном из них и состояло колхозное поголовье. Не случись свалившейся на колхоз разрухи, теплилась, было, у Палыча мыслишка развести и мясных

шортхорнов. Да, видно, не быть уж тому...

Узнав о продаже последнего стада, Палыч неделю не приходил домой ночевать, словно прощался с кем родным. Любушка понимала, не шумела.

А он, усталый, намученный душой, не чуя под собой стопудовых ног, бродил-колтыхал по ночной ферме, напоследок обходил корову за коровой. Радостно теплясь, переходил от одной к другой, вынимал из заплечного мешка прикупленные в сельпо для прощальной утехи ржаные буханки, щедро разламывал, склонялся к уху, толковал с каждой животинкой о чём-то только ей да Палычу известном.

Бурёнки секли хвостами, тянулись к хлебу. Довольно пофыркивали, шумно обнюхивали протянутое угощенье, слюнявили Палычевы ладони, деловито изловчаясь, смахивали мякиш зелёным от клевера языком и, прикрыв длиннющие ресницы, размашисто жуя, мололи своими неустанными жерновами, гоняли желваки по широким салазкам, наслаждались редким баблоством.

Были у Палыча в каждом стаде и свои любимчики. Идёт мимо, не преминет им охапку сенца подкинуть, а то и корочку присоленную сбережёт.

Взять, к примеру, Милку. Первотёлка, а то же — с разумением, со своим коровьим достоинством. Животинка небезответная. И чистоплюйка... куда зря не ляжет, лучше стоймя передремит, чем на навозе. Не закондрычка какая неказистая — порода! Корни дают о себе знать.

Палыч ломанул о колено добрый кусман, протянул корове.

— Дам и тебе, как не дать.

Милка застеснялась. Но всё же не устояла, вздрагивая ноздрями, обнюхалась,

втянула кисло-ржаной запах и робко подхватила угощение слюнявистым языком. Запахнула глаза, медленно-медленно принялась разжёвывать вкуснятину.

— Не спеши, милая... Некуда больше торопиться... осталось всего-то — ничего, малая граммулька жистюшки твоей... Попрятствуй напоследок, последний твой хлебушко, расслышал Палыч сквозь коровьи пережёвывания и вздохи свой голос, почему-то осевший, глухой-приглухой, — кабы не нынешняя беда-горе, дак вся жисть твоя травяная... лет пятнадцать, не мене... была б у тебя впереди. А теперь что ж?.. Ну, родная, не поминай лиха!... Сукины дети!.. Это ж вам не маковое зёрнышко, не конопелина какая... Таковую кралю — в расход!.. Судного дня не боитесь!.. Стало быть, пора и мне на покой, — махнув с досады рукой, двинулся дальше.

То ли неожиданное ночное появление Палыча, то ли кислый аромат ржаного хлеба взволновал, перебудил всю ферму. Коровы оборачивались, мымыкали в его сторону, звали поласкать, потолковать напоследок хоть об чём-нибудь.

Вон подняла голову Лыска, свернула глаз к заплечью, присматривается. Ай, не узнаёт? Да уж и не мудрено, старушка запечная. Каким отёлом, какое лето топчет, со счёту сбился. Уж и зубы подстёрлись и в удое заметно сбавила. Года её как-будто приземлили, от ежегодных отёлов раздалась задом, разломилась. Последнее время мослы и кострецы её заострились, не видать уж былой Лыскиной красы. Но порода всё ещё говорит сама за себя — козырная сименталка.

Палыч почесал Лыску за оттопыренным ухом, прижал к груди слюнявую морду. Корова перестала жевать, затаила ды-

хание. Животные, они ведь лучше нашего чувствуют. «Прости, Лысушка, — пошарился в пустом мешке, похлопал по карманам, даже вывернул их наизнанку, вытрусив пыльные щепоти махры, — не приберёг для тебя, матушка, гостинчика, всё расхватали твои товарки».

От того ли, что явился к любимице порошником, или от бессилия перед неминуемостью, Палычу сделалось вдруг до слёз неловко и стыдно перед этой бессловесной животиной.

А когда отошёл, спиной почувал, что Лыска, уставившись ему вслед, вздохнула... утробно, тяжело, мол, всё-то я понимаю, не томись понапрасну. Палыч обернулся. Корова протяжно зымычала во след, словно зачужая, догадалась, что не свидятся уж больше.

Он не смог уйти. Натура жалостливая. Растрогался, подошёл заново, почесал меж рогов, погладил вздрагивающие бока. Лыска вытянула шею, сунулась мордой поближе, душно лизнула картуз. Не хотела отпускать.

Вспомнилось вдруг, что была у неё подруга Гуля. Когда б не взглянул, всё, бывало, рядышком. Стоят, красоту друг дружке наводят, лижутся, ласкаются. Три года уж, как Гулины косточки в могильнике под Крутым логом. Сказать по совести, просчитался Палыч с ней: росточком не вышла, и не разбочкалась, оттого не растелилась. Сгоряча почудилось: телёночек мёртвенький. Пригляделись: еле дышит, не ахти какой, но живой. Хотели сосунка рядом с маткой закопать, а Палыч не дозволил.

Забрал к себе на двор, приголубил. С пальца молоком от своей Зорьки поил. Придудонится, бывало, от ведра не ото-

рвёшь. Быченочек на ногах не держался, худющий, дыхни — подкосится, не жилец. Но заботный Палыч отходил сиротинку. А как Гришка мало-мальски оклемался, вывел его на займище, на вольную травку. И телёночек стал на глазах поправляться, выладниваться. Залоснился бочками, шибче затокал копытцами, завзбрыкивал, носясь без привязи по луговине. Потому как бычок тот, Гришка, оказался к колхозному хозяйству не приписанный, Палычев двор навсегда остался его родным.

А для Ляльки не было лучше забавы, чем баловаться, бодаться, в кориду с Гришкой играть. Бегает девчонка по двору, подшалком мамкиным цветастым размахивает: «Фу!», — кричит бычку, словно собачонке какой, а тот и рад за тряпкой красной зыкать.

Теперь уже с ним не позабавишься. Выдурился. Бык-трёхлетка. Палыч собирался, было, его в стадо колхозное спровадить, потомство от него вести знатное, с настоящими, племенными, кровями...

Как остался Палыч не у дел, так уж и места себе не находил, словно в лихорадке. Всё не в духах. И по двору-то у него не ладилось: и руки не поднимались, повислые; и глаза-то ни на что не глядели, мутные. Даже к рюмочке пробовал прикладываться. Смотается потайственно, огородами, чтоб Любашка не догляделась, в лавку, прикупит красненькую, «три топора». Воротится домой, запрётся в укромном местечке, в чулане (ни ушей, ни взоров лишних), и чтоб в одиночку не употреблять, выставит Любушкино зеркало, чокнется с ним, мол, за всё хорошее, потом сидит, припоминая пережитое, то ли воет, то ли поёт... заунывно так... И плачет... а от чего

плачет и сам уже не помнит... и себя не помнит...

Подойдёт жена под дверь, приникнет трепетным слухом: жив курилка! Поставит обочь банку с крепким огуречным рассолом и не станет тревожить – пусть отболит. Понимала: нужно время... время зарубцовывает все шрамы... минут чёрные дни... человек выносил! А пил Иван Палыч всегда в меру. Тверёзей его и не сыскать... И никогда не был малодушным.

Истомился он, извёлся, слоняясь день-деньской из угла в угол, как в воду опущенный. И опостытело ему то безделье, аж с души воротило!

...Меж тем догорели синие метели. А как пришло время после зимы хозяйских коров из хлевов на пастбища выпускать, так и не выдержал Палыч, сбежал из Любушкиного уюта, нанялся вместо престарелого деда Капрыза в пастухи, на перемену с Серёгой Рохлиным.

— Не дело ты, Ваня, затеял, не дури! Остепенился бы, мало повкалывал? Бог с ней, с работой той да и с колхозом то же... не вернёшь ведь! Не тужи об нём, Ванечка! Подремал бы, что старичок благообразный, на лежанке под яблонькой, в покойном уголке, пчёлку послушал, вишь, гудья гудят, проходу не дают, взятку с вербы таскают... глядишь, душа и отмякла б, — зауговаривала жена.

— Какая с того радость? Не могу я дома! Суцая казнь! Тоска смертная! Что пёс, на привязи. Живу — не пришей кобыле хвост, ещё чуток замешкаюсь, вовсе закисну или того хлеще — помру, и поминай, как звали!

— Не дай-то Бог! — заахала Любушка.

— Душа одеревенела, застыла, болит, нет мочи терпеть, словно кто её клещами сжимает! Тоска во всём теле. Помилуй,

Матерь Божья! Кажется, не я живу, а за место меня кто-то другой, дажить во времени начал теряться! — разошёлся, орал благим матом Палыч.

Настоял на своём. И спервоначалу вроде, как воскрес, оживился. Изготовил плётку — на загляденье, кнут ему Капрыз по наследству оставил, достал из чулана плащ-палатку, кирзы по-хозяйски, не суетно, солидолом напитал. Сготовился. Степенно, важно.

День пасёт, другой дома, потом опять Серёгу сменяет. Коровок с полста, пяток теляток. А коз-овец кто ж считает? Они, прожоры, от стада ни на шаг, всё рядышком табунятся-петляются, подле коров жмутся. Не шарахаются. Их и шугать особо не к чему.

На Семик (и попас-то Палыч, всего ничего) заприметила Любушка, опять с её Иваном что-то неладное творится: из себя весь смурной такой, всё больше молчит и с лица потемнел. Всплеснула руками: «Царица Небесная! Видать, опять что недоброе приключилось. Скрытничает, не хочет меня волновать, сердешной».

Пастух — в каждой хате, что и говорить, свой человек. Кому зря, ведь, кормилицу не доверишь. В старое время, да и поныне так водится, на деревне звали пастуха хлеба-соли откусать, старались ему угодить: накормить — послаще харч, поллитра; напоить — от души. Да и припасы, чтоб первосортные, не абы как. Пир горой! А за обедом кто ж упустит о животинке своей потолковать, посоветоваться? Да и не только о ней. Развяжется у бабы язык, ей-же-ей! Где можно, и где нельзя, разоткровенничается с добрым человеком (злого к скотине ни одна хозяйка не допустит, пусть только сунется!), взахлёб поделится сердешная радостя-

ми, а то и о бедах ухитрится поплакаться. О сородичах разболтает, не сконфузится. Заговорит бестолковая до смерти...

Нанимаясь в пастухи, Палыч прикидывал, что при деле некогда будет ему токовать по своим колхозным бурёнкам. На вольном духу, на степном разгоне, развеются его тяжёлые думы, занегумит расхволавшаяся не на шутку душа.

Всё бы ничего, но, увы! Надеялся-то он, надеялся, а получилось вон как! Бывало, уйдёт на коровники или к тырлам дальним ускачет, когда до него какие слухи дойдут? А теперь деревня, как на ладони. Чем дышит, чем живёт-может, как за кусок хлеба бьётся — всё пастуху известно. Пойдёт по улице своих подопечных собирать — всё увидит, всё узнает. А коли чего сам не доглядит, зазевается, бабоньки — неумолчное радио — тут как тут, не упустят, нашепчут.

Пастухи — народец не из болтливых. Работа приучила. Всё с животиной бессловесной, особо не потолкуешь. Само собой получается, пастух оказывается в курсе многих семейных тайн, хранит их бережно, не сдаст, Боже упаси! Знай себе, помалкивает, да кумекает, чтоб такое доброе односельчанам присоветовать.

Любушка в душу к мужу не лезла, не привыкла, куда не звали, нос совать. Не хотела мухой назойливой прилипнуть, всё ожидала, может, Палыч сам откроется, что его так гнетёт, от чего так кручинится.

А муж всё больше замыкался.

Не стерпела Любовь Тимофеевна, подступилась издали.

— Что, Ваня на деревне слышать? Говорят, кум Петро расхворался?

— Как не расхвораться-то! — взорвался, будто этого вопроса только и дожидался, Палыч. — На весь урынок старый ду-

рень воеет, щеку разнесло, с зубом кой день мается. Ни за что мужик пропадает. Съездил, чудо в перьях, называется, к зубнику. Ведь знал же, разиня, что заместо Устиныча никого не прислали. Как помер доктор, так, хоть обкричись. Сама знаешь: в больничке — теснотища, да и свободные места только в коридоре. А из лекарств — свищи не свищи — одни градусники.... Упросил, вроде, Петро хирурга, мол, всего-то делов — пять секунд, и готово. Тот выдрал, развороти-ил! Ить во всём сноровка требуется! Чудак-человек! Лучше б уж ко мне прибежал. Я б ему по-свойски, чистенько, справил, опять же обезболивающего значную дозу не пожалел бы. И внутрь для дезинфекции — первачку б уважил. Всё ж таки не чужой-приблуднай! А теперь что жа? Теперь, Любовь Тимофеевна, расстарайся уж, загляни-ка, проведай кумовьёв, да под сараем пучок шалфею сними, накажи, чтоб Миколавна узвар в печи натомила, да чтоб подавала его своему курябчику беспрестанно. Глядишь, полегчает.

Любушка тот час же спровадилась ответить болезного. А как вернулась, лица на ней нет, белая, что стена.

— Авдотья Парфёнова преставилась! — выпалила с порогу.

Присела к столу и, ещё не веря в случившееся, сбиваясь и утираясь кончиком передника, затолковала.

— На Вознесенье ж виделись! Радостная такая была... Зою свою дожидалась... А тут — испустила дух!.. Дочка-то её давно к себе в город переманивала. Семёновна всё отнекивалась. А тут вдруг объявила, что, решила, уж и пожитки бабам раздала, на кой ей в городской квартире чугульки да шайки?.. Сказывают, Зоя вчера с вечера прикатила. На скорой помощи. Она ведь

фельдшеркой работает. Стало быть, упростила начальство, мать перевезть... Ну, дак вот... сказывают, уж и вовсе Авдотья собралася, уж и гераньками Спиридоновну с Максимовной одарила, и ката в корзинку увязала (как расстаться-то?), а как через порог переступила, тут и обмякла. Зоя-то, Зоя-сё, и аппараты нужные при ней, и лекарства всякие, а мать так и не отходила. Громадный инфаркт, мол. А я так думаю: просто старушка не пережила прощания с хатой своей, с местом насиженным... Уж и гроб подвезли... Зоя — никакая. Только и причитает, что ж, мол, ты упрямылась? Дура я, дура, что ж не настояла!.. Теперь убивайся, не убивайся, а Авдотьи нет...

Тут Палыча, словно прорвало. Выложил жене всё (а кому ещё-то откроешься?), что его терзало, что таил-скрывал. Видать, не стерпел, немого у уж при его-то широте душевной.

— Позавчера пас я у Сивого овражка, по молодому березнячку, что на Химкинном поле поднялся. Помнишь, какую картоху на нём растили? А теперь молочник да подлесок. Стадо разбрелось, не собрать, только хрум стоит. Слышу: залучает ктой-то с другого конца, подмогает. Смотрю: Демьян Филиппыч с псинкой. Добрейшая такая. За боровиками в Савин лес ныряли. Ничего, с десяток крепеньких на полёбочку, на жарёху насбирали.

Перекурили со стариком, значит, потолковали. Самосадик у него забористый. Дак Филиппыч иного не признаёт. Хотел, было, папиросами его угостить, он только крикнул, мол, в них и махры-то какой следно не имеется, так, травка подножная, для нашего брату лучше козьей ножки — не сыскать.

Что, говорю, старожил, не в духе, квё-

лый? Ай, что тревожит? Выглядит старик — рохля-рохлей. Ну, так уж и годков сколь, древний, как трухлявый музейный ящер... Мялся он, стало быть, мялся, потом и прожамкал. Неделю назад, как раз Марья пенсию разнесла, ворвались к нему среди ночи два бугая под мухой (старик — фронтовик, двери никогда не запирает, мол, от кого, все ж свои?) Рази ж знал, что так обернётся? Связали подлещы деда (приболел он, как на грех, силушки не стало, хоть одному б в морду двинул, раньше-то скорей бы помер, чем дозволил такой беспредел), пенсию, как есть, подчистую подобрали. Не погнушались-поглумились, спёрли с Божницы отложенное на смерть. А, уходя, пригрозили, мол, пикнешь кому, старикан, спалим вместе с хатой, послушаться — не мысли, ухайдокаем! И — порск воробьями за порог.

Обнаглели, даже следы не удосужились замести. Такой разбой у нас отродясь видом не видывали, слыхом не слыхивали!.. Может, почудилось мужику, не хочет брать грех на душу, только в одном из бандюков признал Филиппыч Юрика, отпрыска нашего участкового. Дед брехуном ни в жисть не слыл... Поди, пожалуйся! Отпрутся ведь, сволочи, отмажутя!

— Ну дак, Ваня, ещё Господь есть. Он этого бандюкам ни за какие коврижки не спустит... Ох, не впрок тебе это пастушество, Ванечка, вижу, не впрок! Я так кумекаю: посиживал бы дома, мене знал, крепче б спал.

— И что ты забубнила одно и то ж? Всё подле подола удержать хочешь. Покой! Покой! Будешь тут спокойным! Посмотри, что делается, разве может нормальный человек пройти мимо такой подлянки?..

Выгнал вчера стадо за околицу, мимо ферм направил, в Косую балку, думаю,

прогульнёмся, разведем, бывало, травища там к концу мая — что надо. Идём, значит, просёлком, коровы ж наученные, на обочину не шарохаются, а Зинкина первогодка, возьми да лызь в барщевик. Ну, думаю: сгубит вымя, пожжётся растакая! Ломанулась она к фермам, видать, дух родной зачуяла, она ж из колхозных теляток.

Я бочком, бочком меж будыльев и за ней. Барщевик, что лес мачтовый. Взял в полон Калиновку да и не только её одну. Вся округа под ним. А может, уже и пол-России. А трава эта, сама Любушка, знаешь, первый знак запустения, задичания... погибели крестьянской... срамотища!..

Выскочил я к фермам, так и обмер! Окна выдраны, ворота сняты, шифер с крыши разобран! Видать Карпухины сорничали. Пьют, огород не садят, хозяйство расшикали. А пожрать, погулять — тут как тут, не дураки. Шиферок-то с ферм за поллитры и скинули. Когда ж слямзить успели? Ума не приложу... Хозяина не стало, так что ж круши-ломай?

— По правде говоря, от того-то и Авдотья не съезжала, — вставила Любовь Тимофеевна. — Зоя ей, мол, хоть перезимуешь у меня. А старушка всё перечила: «К чему возвернусь? К разору?»

— Вот то-то и оно! А ты мне: «Полежи! Пчёлок послухай! Рази ж тут улежишь спокойно? — разошёлся Палыч, — не волнуйся, скоро и так стану баклуши бить. За неделю трёх коров стадо лишилося. Коли дальше так пойдёт, к Успенью все переведутся... А оно куда деваться-то? Рази ж осият, потянут без колхозу престарелые Митревна со Степановной или Кузьминична с Михеевной своих кормилиц? Не в жисть! Попробуй: смахни-высуши-убери, сколь силов убухай!.. А травы нынче, как

нарошно, — хоть закопись!

Любушка, завидя, как разгорячился её Ваня, решила отвлечь мужа от его горестей, свернуть по-быстренькому на другую стёжку.

— Давеча к Раисе за рецептом для теста ходила, на Роштво пироги у неё пробовала, объеденье. После завтра настряпаю. Со щавелем, с грибами. Троица как-никак. Лёша с Галинкой обещались... Райка — баба то не плохая, но слабина имеется — болтушка несусветная. А съехидствует — ужалит, так ужалит! Внутрях — ядовита и вредна. Порода ихняя вся таковская, ты же знаешь. Так ведь, и её понять можно: Богом обижена, крокодилица крокодилицей, всю жисть от неё мужики шарахались, как чёрт от ладана... Это надо ж, что выдумала поганка: Зинкина Валентина, мол, домой возвернулась... не одна, с дитём малым. Я ей толкую: «Мало ли как бывает». А она всё одно: «В подоле принесла да в подоле принесла». Раскудахчет, наговорит с три короба, со свету сживут. И чего ей неймётся? Жалко мне девку...

Лучше б Любушка не затевала того разговора! Что варом ошпарила!

— В подоле, сказывает, принесла? — почернело и без того истёртое ветрами, прожаренное просёлочным зноем Иваново лицо. — А теперь не у одной мамки, не сомневайся, покою не будет. Чем девкам-то заниматься? Вдоль деревни по вечерам слоняться? Мух-гундосиков с безделья давить?.. Я вот, как мимо будки придорожной, мимо остановки, значит, на ночь стадо прогоняю, так молодёжь всё на лавочках трётся, ошивается. А где ещё-то? Раньше хоть в клуб на танцульки бегали. А как Колька завклуб от Маринки к городской сбежал, так и клуб затих. Кто ж на

такие копейки заместо его сунется? Рази ж можно молодым на крошечные крохи по нашему времени вытянуть?

Даже кино крутить некому. Хоть с тоски помирай! Ты же знаешь, Петька-киномеханик прихватил жену, детей, в Москву на заработки подался. К брательнику. Павелто ихний вроде б ничего устроился... при пагонах, поди уж майор, а то бери круче — полковник...

Вот ведь в Лёшкином классе сколько было? Голов двадцать пять? А теперь прикинь, кто в Калиновке задержался? Витька с Васькой. Законченные пропойцы. Запухли, месяцами не просыхают. Попробуй в одной упряжке с ними походи! Шляются из конца в конец, поллитры сшибают, а земелька томиться, заботливых рук дожидается, деревьями, бурьянами зарастает. Это в деревне работы нету? Когда ж такое было? На всех с добавкой, бери — не надорвись! Какому бы немцу наши неугоды, разделал бы под орех все бугры-яминь. Они в своих Европах жмутся друг к дружке. Каждый клочок плодородный берегут, не как-нибудь! А мы землю за покидместо держим. Ноль ей внимания. Разбаловались на просторах, прохозяствовались.

Палыч вдруг затих, взглянул на Любу, опомнился, отпрянул: нельзя её так-то тревожить.

— Говорят, к Сидоровне автолавка приехала. Степка ихний, ухарь-купец, приторговывает, своего не упустит. Ты бы взглянула что ли. Как магазин прикрылся, и обновок не покупала. Сходила бы, может, чего для себя, для Ляльки присмотрела б. Правда, рассказывают, мол, один Китай. Ну, дак куда теперь деваться? Хоть китайцы нам трусов-панталонов настрочат, тапок нашьлёпают. У нас, у самих, видать, кишка

истончилась. Даже на это стали не способны. Подумать только: аж из заграницы (за тыщу вёрст!), в Российскую глубинку везут, втюхивают всякий никчёмный шурум-бурум, а мы здесь и тому рады...

— Я как раз на их урынок собиралась. Творожку, молочка собрала, старушку отвезать. Заодно и в Стёпкиных чувалах покопаюсь, может, что и прикуплю... Вчера Нюру Панину повстречала, рассказывает, мол, сестра младшая с мужем гостует. Подумывают, не въехать ли в закованную Парамонихину хату. Сами-то они то ли со Смоленщины, то ли с Тверской губернии. Жалуются: и там раздрай, и там Божий люд на произвол судьбы заброшен, - вздохнула Тимофеевна.

— А у нас им курорты что ли, Эссендуки с Трускавцами? Ай, соты с черёмуховыми медами? Размечтались... Хлебнут и нашего горького горюшка, чай не слаще ихнего, — заверил Палыч, — дажить арендатор, на что уж мужик крепкий, да и умишком не убогий, и тот подчистую разорился. Свояченица его, Клавдия Петровна, вчера, по заре, как корову спроваживала, всё плакалась. Заколотил, не благословясь, такую-то домину! Прикупил в городе кой-какую однушку, и на ту ели-ели наскрёб... На вахту, сторожем пристроился, а Сергеевна его — и вовсе дома. Рази ж сыщешь теперь работу за полста? И как жить станут, ума не приложу! Ни тебе огородины, ни животинки. Всё в тридорога, с базару... Надо же! Такой хлебобоб (не на словах знает, где и как булки растут!) — и в сторожа вокзальные! — недоумевал, сокрушался Палыч.

Тимофеевна притихла, а, может, придремала под монотонное сердчанье мужа. Он поднялся, на цыпочках двинулся к двери.

— Да не сплю я, Ваня, слова подбираю... Всё не могу собраться с духом, не знаю, как тебе и сказать. Больно ты всё к сердцу допускаешь.

— Да не томи уж, чего там! — настоял Палыч.

— Опять две девки с дальнотойщиками укатили. Сказывают, бабы видали, как с вечера они на большаке у остановки крутились. Уж третий день пошёл, а девок нет, как нет. Упаси Бог! Как бы худа какого не приключилось!.. С одиннадцатого классу... Авось, опомнятся!

— А ведь просил же я, уговаривал, убалтывал председателя, — вспылал, не замедлил Иван Палыч. — До школы семь вёрст. Автобуса так и не выделили, мол, зачем? На трассе любой подхватит, подвезёт. Вот девки и разбаловались. То одна укатит на край света, то другая. Прямо со школьной скамьи — в блуд, э-эх! — не выдержал, махнул рукой, выскочил на подворье.

Из памяти Тимофеевны вынырнуло, как муж не находил себе места, как погано было у него на душе, когда под Сретенье с полудня разыгралась метель, и Лялька не вернулась к обычному времени домой. Он тогда (ночь на дворе!) выхватил лыжи из чулана и отмахал, ног под собой не чуя, четырнадцать вёрст, туда и обратно. Сто потов пролил, зато и сам успокоился, и её обнадёжил. Всё, мол, с Лялькой в порядке. Сестра его, Катерина, не отпустила племянницу, пришла за ней в школу, увела домой. Да и, слава Богу! Мёрзла б девчонка на трассе в такой буран...Престарелая Василиса доживала свой век по очереди то у Ивана, то у младшенькой Катерины, остальная детвора разлетелась от Калининграда до Камчатки. Василиса-то и заслала дочку за внучонкой, мол, стинет в

эдакую распогодицу, поди, приведи...

Ну, ничего, осталось чуток. Через неделю — экзамены, а там и выпускной у Ляльки не за горами... А вчера Лялька предупредила, что задержится на Дне Рождения Веры, закадычной её подруги. Палыч засопел, было, но дозволил... Согласился, а сам накаляется с каждым часом, дёргается. Места себе не находит, успокоится, только когда дочка переступит родной порог.

Прихватив узелок, Любовь Тимофеевна собралась к Сидоровне. Палыч в углу двора колот дрова. Лето на подходе, а он, словно к лютой стуже готовится, выстроил такую поленницу, на десять годов впрок.

— Пусть тюкает-занимается, глядишь, пыл спадёт, разгорюнится, — воздела щепоть ко лбу, быстро и дробно закрестилась Тимофеевна. — Ты бы, Ванечка, к вечеру за рыбкой что ли сходил. Может, краснопёрок, а то подлещиков натаскаешь? — мягко присоветовала она мужу и скрылась за калиткой.

От небольшой усталости ли, от Любушкиной ласковости, чуть оттаяло его сердце и, выдернув из-под повети ореховые удочки (покупных не держал, не признавал, любил по-старинке, да и не мешок же наловить, так, десяток-полтора). Накопав банку из-под кильки жирнящих дождевиков (на бакше их рясно усеяно), Палыч спустился под гору, в тальники.

Рыбалка в деревне — детская забава. Мужуку побаловаться ею особо некогда. На прудки Палыч отправлялся не часто. Много не брал. Какая корысть? На жарёху, на ушицу. Карпики, карасики.

Изведя в округе скот, перетаскав его тушами в столицу, Витька Груздев (а по-уличному — Груздь) добрался и до рыбы,

до Калиновских прудков. Как уж он это дельце обтяпал, оприходывал, не известно, только у него, видите ли, теперь там частное хозяйство. Даже мальцов с удочками жлоб не допускает. Все телеграфные столбы, и там, и сям обклеил объявлениями, мол, за рыбой — не суйтесь, привлеку, поскольку моё, единоличное.

Палыч, не в пример, Калиновским, плевать хотел на его бумажки и угрозы. Спокон веку Калиновка со своих прудков подлещиками кормилась. Ишь отыскался! Раззвенелся! Откуда оно, его-то, взялося? Помещик Казюлеев, устроитель этих прудов, и тот смотрел на подворовывание крепостными рыбёшки сквозь пальцы. Рази ж то воровство — с десяток краснопёрок? С таких-то водоёмов не убудет. А местным, мало-помалу — отрада какая — ловись рыбка большая и очень большая!

Иван Палыч обходил Груздёву резолюцию своими, потаёнными, заросшими по самые уши валерианником да рогозом, стёжками, что спорым ужиком виляли вдоль да поперёк прибрежной долины. Дело не хитрое: нырёт в тальничек у Пашина ложка и низинкой, низинкой, где — камышом, где — ивнячком — к Илюшину омутку.

Но на этот раз подступиться к воде не удалось. По всему берегу — армейская колючка. «Ну, вражина! Змеища подколодная! — начал закипать, сплюнул, заскрежетал зубами Палыч, — всё мало, оглоеду! Когда ж ты только нажрёшься? — и, заметив на противоположном берегу костёр, двинулся тростниками, в обход, — щас потолкуем!»

На въезде два чужака в камуфляжке, наймиты. Не зря хлеб с груздёвской руки трескают, прикормлены. Душа — держуж-

ка. За копейку барскую живьём загрызут. На лужайке — козлик бывшего председателя, пара милицейских с мигалками, вездеходная бульдожина Груздя и чья-то крутая, жукастая, с затемнёнными стёклами невидаль, стало быть из области.

Запах шашлыков. Смех молоденьких девчонок, пьяный гомон разгулеванившихся груздёвских гостей. Показалось, в предвечернем сумраке за раakitник метнулось Лялькино платье. Слева в груди прострелило, сердце рванулось, того гляди, выскочет.

Отдышавшись, Палыч зашвырнул удочки в кусты, чуток поокочачивался и шаткой походкой, мол, по пьяни забрёл, направился к сторожевым псам.

— Ребятки, вы бы, таво...поднесли б, старику в честь праздничка! —

— Шёл бы ты, побирушка, отселя, поберёг шкуру! Не бомжевал бы! Откель ты взялся? Ай, с курсу сбился? — упёрся взглядом-набычился, заступил путь белобрысый дурында. Громадный, со скуластой харей.

— Угостите за-ради Христа, погибаю! — не отставал Палыч, а сам косил глазом на пирававших.

— Щас кобеля, ёшкин кот, спустим, он тебя угостит! Дашь чёсу! — объявили в один голос оба охранника.

— Послушайте, люди добрые! Хоть сто-парик поднесите, век за вас молиться стану! Ну, что мне теперь перед вами на колени грохнуться что ли? — не оплошал Палыч.

— Ты что, дед, ё-пардон, совсем трёхнулся? Опупел что ли? Уйди от греха подальше! Не вишь, каким людям докучаешь? — заважничал, встретился в разговор, поскрёб крутую лысину лупоглазый детина.

— А кой-то у вас тут гужует, милаи?

— Кто-кто? Конь в пальто! Отстань, репей! Какая тебе нужда? На кой хрен? Небось завидки берут? Вали отсюда по добру — по здорову! Шканделяй, ещё вякнешь — в раз по шее схлопочешь! — расплылись в ухмылке, заржали мужики.

— Не пущать?! Стало быть я вам тут не в масть? Так уж прямо не ко двору?.. Ишь, моду взяли! Слухать мне вас тяжело и стыдно, — не смотри, что характер не взрывоопасный, что курице головы всю жисть Любашка тыпала, напрягся, пружина пружинной, Палыч. Торчи тут, не торчи, что-то надо предпринимать. — Ну, шабаш! Развонялись! Здесь вам не отхожее место! Тошнит от вас, как от сортира засарайного... Изыди с глаз моих!.. Не хошь деда уважить, как хошь. Ежели так — Гришку приведу! Авось я вас, гадючье отродье, разужу!

— Напугал кобеля буханкой! Мы прямо голубка и подпустили! Катись-ка отселева, проваливай к чёртовой матери! — поспрашивая на Палыча свысока, напирала сторожа. — Веди табуном: хоть Гришку, хоть Мишку, хоть Петьку с Васькой. Подмога дю-у-жестая! Всем наваляем!

Раскипятившись, шустро снуя руками, Палыч лез в полумгле напрямки. Тальники хлестали его по бокам, по лицу. Вопредел, но боли не чуял, как затмение нашло, — закусил удила. Только бы поскорее добраться до двора! И марш-броском обратно. Слов на ветер не привык кидать. Теперь уж — дело чести! Попробуй, застращай его!

Вывел Гришку, подцепил за кольцо и, где трусцой, где бегом — скорей к омутку. Когда из темноты на сторожей зловеще двинулся бычина, те, обалдев от неужи-

данности, откинули вниз челюсти, прытко отскочили от ворот и давай улепётывать. Побыстрее бы раствориться в пространстве!

Гришка — дело плёвое — легонько, словно пушинки, поддел воротины рогами, расчистил путь хозяину, который всю дорогу, от предвкушения чего-то важного, бормотал без остановки: «Так их, Гришутка! Разнеси всю эту камарилью к чертям собачьим! Расшмякай об землю! Ишь разчванились, нечисть поганая! Фон-бароны новоявленные! Кровопивцы!» — разносил Груздя с его гостями в пух и прах.

Бык, узрев огонь, заволновался, в глазах полыхнула свирепость, принял боевую стойку, так заревел, что девки с визгоим юркнули в темень, слышно было, как по-сигали в пруд, забулькали и вразмашку, опрометью погребли на другой берег. Видать, им Гришкина красота и задушевная, доставшая до печёнок, песня не пришлись к душе.

Меж тем, смаковавшие шашлык, растворили рты, остолбенели, но вскорости тоже не на шутку струхнули — засучили ногами, стрельнули врассыпную, юркнули по-пластунски в тальники. Как сдуло.

Ещё хитрей: всхрапывая, косолапый, калошистый Груздь, не смотри, что толстогуз, квакнувшись о корягу, всё-таки прогалопировал до ближайших осокарей. Хоронясь, взмахнул на самый высоченный и, шныряя глазами с его верхотуры, сучил кулачищами, истошно, перемежая слова с невнятным мычанием, чертыхался, верещал: «Что ж ты, гад, творишь? Доберусь — пришью собаку! В землю вгоню! На всю жисть запомнишь! Знаешь, что за такие проделки полагается? Ну, ты и влип!.. За всё ответишь!»

«Отвечу, засранец, отвечу! — ухом не повёл, мотнул рукой, словно отгоняя надоедлых мух, старик. — Сколь хошь, прохвость, отвечу! Щас покончим, чтоб было за что спрашивать, и отвечу!»

Бык, растормошив шашлыки, растоптав костровище, облюбовал красную иномарку. Палыч, вспомнив Лялькины забавы, подуськнул его, словно цепного кобеля: « Вот-вот! Фас! Гриша! Поспешай! Фас!»

Что происходило потом, трудно описать. Жуть! Благословлённый хозяином бугай топтал и крушил припаркованные у костерка машины. Груздевским гостям почудилось, что на них свалился страшный ночной кошмар. Они ревели от негодования, но приблизиться к Гришке никто не смел. До тех пор, пока берег Илюшина омутка не превратился в свалку металлолома, ни себя, ни быка Палыч успокоить не мог.

Наконец, окинув взглядом место побоища, Иван Палыч и Гришка остались удовлетворёнными — урон непоправимый. Кивнув бугаю, мол, на сегодня, кажись, хватит, Палыч выдернул из штанов ремень, подцепил его за Гришкино кольцо и мирно удалился восвояси. Бык, что малое щеня на поводке, накуролесив всласть, опустив дитячьи свои глаза долу, послушно, как всегда сызмалу, потрусил за хозяином.

Сделали своё безотлагательное дело. Свершили светлую месть и пошлёпали восвояси. Долго теперь будут снится Груздевым дружбанам, словно переевшей корове, обустроенные Палычем, страшилки, не раз проснутся в холодном поту.

У ворот они столкнулись с Лялькой. Аккурат в тот миг девчонка поворачивала вертушок.

— Отыскалась, гулёна?.. Ну, хоть дома порядок! — Палыч сердито сверкнул на дочь.

— А что случилось-то? — Лялька не ожидала такой встречи с отцом.

Палыч всегда баловал дочку. С последними, с позднушками всегда слепо татошкаются. А тут, словно руки у отца чесались выдрать любимицу.

Тимофеевна, зачуяв неладное, выскочила на крыльцо. Палыч молча привязал за сараем Гришку, так же молча прошёл в хату. В сенцах с крючка снял свой парусиновый тормосок. Всё до последней крошки из него вытряс.

Когда-то будучи при фермах, таскал он в нём всяческие отчётные бумаги, кой-какие инструменты; пастушествовая — бутыл с молоком, пару ломтей чернушки, косочек мяса, огородную новину.

Открыл сундук, собрал смену белья. Несколько пачек папирос, карточку семейную, кой-какой документ.

У жены захолынуло сердце. Не понимая, что происходит, чувствуя, что муж куда-то стотавливается, Любушка, как парализованная, обмякла ногами, стелилась подкошенной травой. Насовала в холщовый мешочек Троицких пирогов, подала Палычу. Тот запихал всё в свой походный тормосок и уселся на завалинку. Дождаться.

...Приехали спозаранку, только-только засочился рассвет, чтоб никуда не сбежал. А куда ему от Калиновки-то, от Любаши с Лялькой, от хаты родимой, от последних Зорек, Чернушек?.. У них только и может заручиться поддержкой нашенский мужик.

Вернулся через три года...

С порогу почуял в дому недоброе. Жена

— старуха-старухой. Лёшка ослеп окончательно. Правда, не пьёт. Спасибо Галинке. Свойственная нашим российским бабам жалостливость, а может, всё ещё непогасшая любовь, удерживает её подле мужа-инвалида. Куда он без неё? Пропадёт ведь! Галина знает: она ему позарез, пуще воздуха, нужна.

Лялька? А вот с ней настоящая беда. Институт ей не посветил. Откуда деньжищи?.. И за что только такая кара на материну голову? Закрутила всё-таки и её дочку придорожная куролесь. Как не ломала руки, не доглядела разнесчастная Любушка, не удержала на короткой уздечке. Не минула и её дочку участь многих Калиновских девчат. Укатила сначала, вроде бы, в Москву, а недавно видели её в Туле.

Не мог Иван Палыч панихиду по Ляль-

киной душе справить. Никак не мог... Заторопился за дочерью в Тулу.

А вдруг да посчастливится отцу, исходившему от стыда перед самим собой, перед соседями, достанет сил сыскать и выдернуть дочь свою единственную из затянувшего её болота, вразумить пасть на колени, покаяться... Как не крути, всё в руках Божьих!

Помолюсь за него, чтобы дал Палычу Господь терпения:

«О, Дивный Создателю, Человеколюбивый Владыко, многомилостивый Господи! С сердцем сокрушенным и смиренным сице молю Тя:...услыши мене, не презри мене... яви на рабе твоём грешнем Иване великую милость человеколюбия Твоего, ризою Твоею честною защити, помилуй и подкрепи его!..»



Курская область, с. Воробьёвка. Фетовский праздник. 2013 г.

*Редакционный совет сердечно поздравляет Татьяну Ивановну Грибанову с юбилеем со дня рождения!*